

Лев Толстой на войне

Молодым человеком — двадцати двух лет — приехал Толстой 30 мая 1851 г. на Кавказ, в станцию Старогородскую, где служил его старший брат поручиком артиллерии. В день приезда он записал в дневнике: «Как и сюда попал? Не знаю. Затем? Тоже».

Через месяц по приезде в станцию Толстой участвует добровольцем в набеге на горные аулы. Вот какой разговор, записанный Толстым в черновике рассказа «Набег», произошел между ним и бывшим в отряде «запасенным» горцем:

— Ты какой человек? — спросил он меня после минутного молчания, во время которого внимательно рассматривалася в моей одежде. Штатское платье мое, видите, приводило его в недоумение. Я старался уяснить ему свое положение неслужащего человека; но он, как кажется, не мог постингнуть, чтобы человек мог быть не татарином, не козаком и не офицером.

— Зачем ты на похода пошел?

— Посмотреть.

— А! посмотреть. Отчего ж у тебя на шапки, ни пистолет нет?

— Да я так только посмотреть хочу.

— А! посмотреть!.. Что ж ты смотришь будешь?

Я решительно не знал, что отвечать ему.

Этот разговор в перспективе всего художественного (и не только, показал, художественного) творчества Толстого на военные темы имеет глубокий, можно сказать, символический смысл. То, о чем не нашелся рассказать Толстой никакому горцу, рассказал нам в серии «кавказских» военных рассказов (*«Набег»*, *«Рубка леса»*, *«Разглаголенный»*), в трех «севастопольских» рассказах, в *«Казаках»*, *«Война и мир»*, и, наконец, в *«Хаджи-Мурате»*.

Черновые редакции первого военного рассказа Толстого (*«Набег»*) имеют исключительное значение для характеристики будущего автора *«Войны и мира»*, как будущего мыслителя. Если *«Дество»* — первое законченное художественное произведение — в известной мере уже заключает в себе эмбриональные черты *«Войны и мира»*, то *«Набег»* имеет такие же черты в части «войны».

«Набег» в рукописных редакциях — вещь разоблачительная и даже обличительная, местами сатирическая. Об этих черновиках воинству можно сказать, как юнгле леоне — «по которым узнают льва». В своих рассуждениях, отступлениях от повествовательной линии рассказа автор разрабатывает те самые вопросы о смысле и значении войны, о храбрости, о « духе воли», которыми он занимается и в «Войне и мире».

«Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — обображенческое мое отказывалось слепить за такими громадными действиями, я не понимал их — интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве».

Вот, оказывается, что хотел «посмотреть» Толстой, привив участие в набеге на горные аулы. Разве не сказался в этом отрывке и будущий автор *«Войны и мира»*, и философ-моралист, автор поэзии, писавшей более приятных, как-то *«Лирические трактаты»*? Знаменитый, специфически толстовский прием разложения большого и сложного на мелкое, индивидуальное, прием, применявшийся в *«Войне и мире»*, здесь уже определенно заявлен, замечен. Но в *«Войне и мире»* он основан на обобщениях (генерализациях) в виде рассуждений, между прочим, как раз о том самом «расположении войск» при Аустерлицкой или Бородинской битве, которое автора *«Набега»* не интересовало.

Не менее значительно в черновиках *«Набега»* рассуждение о « духе войск» в связи с вопросом о храбрости, тема тоже разрабатывавшаяся в *«Войне и мире»*.

В отношении тенденций, которую я на-вывал разоблачительной, самое замечательное — это такое рассуждение о смысле и характере войны России с кавказскими народами.

«Война? Какое непонятное явление в роде человеческом. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым.

Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вышеющая из чувства самосохранения, на папье-тороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивалася все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов лягих и воинственных?

В этих словах Толстой выразил то, что в течение нескольких десятков лет и до Толстого и после него высказывались и парсы правильство, и представители, ко-мандующих классов, не исключая и легионистов, о войне России с народами Кавказа. Так думал Пушкин, когда писал «Кавказского пленника» и «Путешествие в Азию». Но Толстой не ограничился постановкой этих этических вопросов. Непосредственно вслед за тем он обращается в прах эти традиционные, по существу гнилье, лицемерные, несправедливые отрывки из захватнической политики.

«Но возьмем два частных лица. На

ней стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне того обозрания, какого-нибудь Джеки, которых, услыхав о приближении русских, с проклятием снимут со стены старую винтовку и с тряси, четырьмя зарядами в заправах, которые они выпустят не дающим, побежит на встречу гибели, который, увидав, что русские все-таки идут вперед,

подплывут к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оружью, в котором дрожат от испуга, схватятся его мать, жена, дети, подумают, что все, что только может

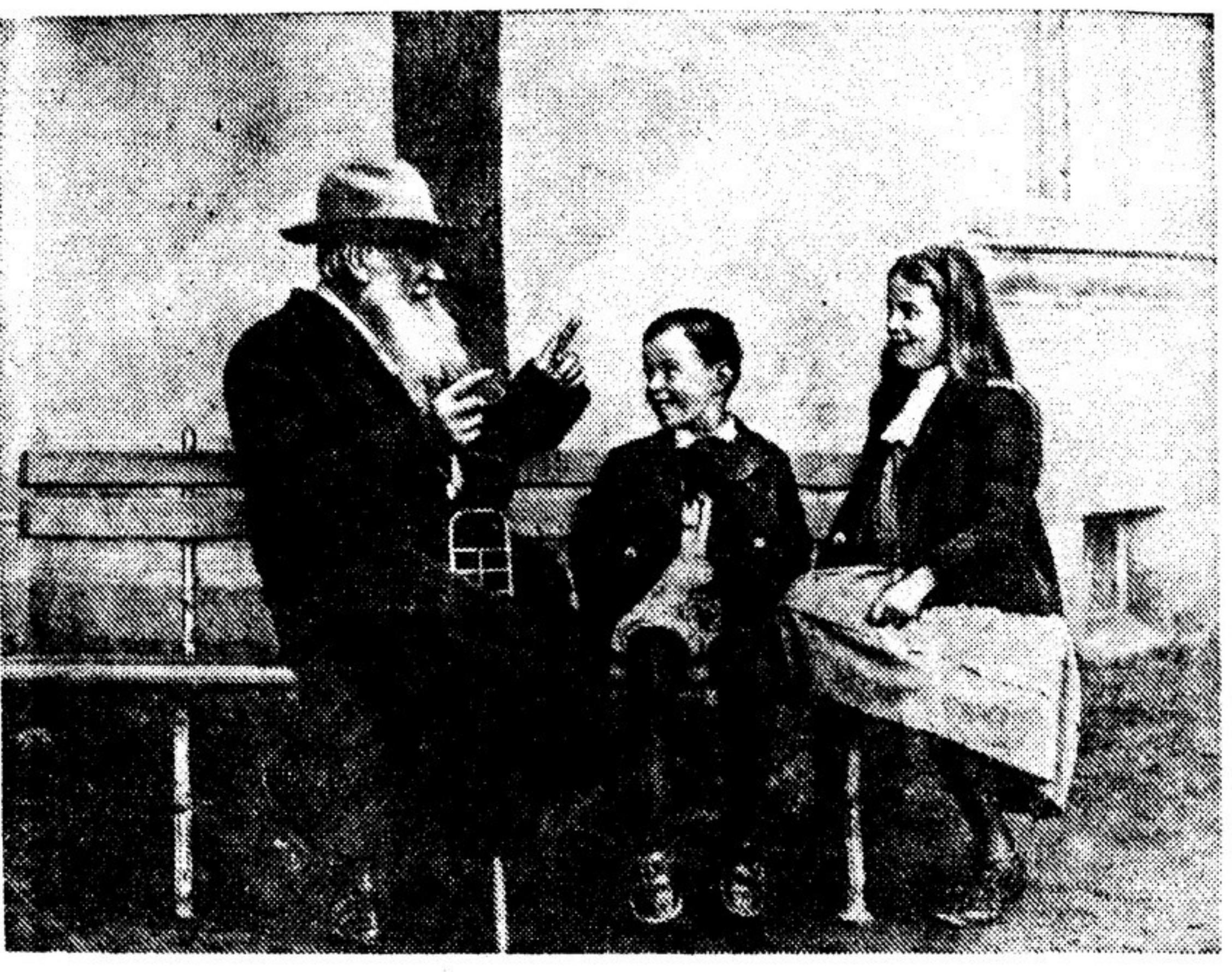
делать составить его счастье, все отнимут у него — в бессловесной злобе, с криком отчаяния, сорвут винтовку с собой

и бросят «Набега», и уж

появится к его язвенному полу, которое они выбросят, к его сажке, которую сожгут, и к тому оруж

На обсуждении книг о В. В. Маяковском

Дневник заседаний



Л. Н. Толстой с внуком и внука.

(Музей Л. Н. Толстого).

Толстой об искусстве

Публикуемые ниже четыре отрывка об искусстве представляют собой черновые варианты к трактату Толстого «Что такое искусство?» и относятся по времени к написанию их к февралю—май 1897 г. Черновой, неизвестный для окончательной редакции материал содержит много неизвестных, ценных мыслей и выскаживаний Толстого об искусстве, по тем или иным соображениям не включенных автором в окончательную редакцию трактата.

При опубликовании этих вариантов распологаем их применительно к содержанию окончательного текста трактата. Зачеркнутые в рукописи Толстым, но представляющие интерес и не нарушающие общей композиции, мы оставляем в тексте и заключаем в квадратные скобки.

В. МИШИН.

Если произведение искусства может быть непонятным для нескольких, то оно может быть непонятным и для многих; если оно может быть непонятным для многих, то может быть непонятным и для всех, кроме двух, или даже одного.

Теория эта о том, что искусство может быть непонятным для кого бы то ни было, так противна истине и так распространена, что нельзя достаточно разъяснить несправедливость ее.

II

Для того, чтобы произведение искусства было заразительно, т. е. вызывало в других чувство, нужно, чтобы оно было точным выражением чувства, потому что только точное выражение чувства вызывает чувство. Только если человек смеется точно так, как смеются в действительности и плачет точно так, как действительность плачет, станет весело или грустно тем, которые услышат и увидят смех и плач. Для того же, чтобы найти точное выражение чувства (а выражение каждого чувства есть только одно), есть только одно средство: художник должен вызвать это чувство в себе, испытать его и выражать то, что чувствует. Так что для того, чтобы произведение искусства было заразительно, художнику нужно чувствовать то, что чувствует. Так что для того, чтобы произведение искусства было заразительно, художнику нужно чувствовать то, что он хочет передать. В этом необходимо и достаточное, как говорят математики, условие заразительности искусства.

Понятно, что для того, чтобы произведение искусства могло заражать других тем же чувством, нужно, чтобы передаваемые чувства были свойственны и другим людям, а не были бы достоянием одного автора. Если чувства, передаваемые произведением, суть только мгновенные настроения и ощущения человека, находящегося в исключительных условиях, чувства, вызванные не жизнью, а чтением известных авторов и созерцанием известных предметов искусства, то чувства эти, не находя отклика в других людях, не могут быть заразительными. —

Художник должен уметь найти то единственно выражение, которое существует для каждого чувства. Для того же, чтобы найти это выражение, он должен чувствовать то, что выражает.

Только при этом условии произведение искусства заразительно и потому есть искусство.

III

В пережитое нами полустолетие явилось много художественных произведений совершенно новых и все эти произведения более или менее высокого разбора, все были понятны.

На моей памяти в жлописи появился Delacoste, Delacoste, Клаус и др.; в драме появился Victor Hugo, Dumas, Островский; в музыке Мендельсон, Мейербер, Верди, Шуман и, главное, Шопен; в романе первого разбора Диккенс, V. Hugo, Азурбад и потом Eugen Sue, Dumas р.е. Были более-менее сильны [ф.], но все это было понятно, и таких, какие теперешние доказательства, не было. Не было ничего подобного.

Что же это значит? Я вместе с сотнями людей нашего круга с миллионами рабочими людей всего мира, глядя на все эти произведения или слушая их, находил, что это произведения безумных, глупых, часто разрушительных людей, не имеющих никакого человеческого смысла. Но то, что мы хотим, не безграмотных, а так называемых образованных людей вместе с миллионами рабочих говорили, что это беспомощные и сумасшедшие произведения, николько не смыкаются этих людей; они даже разрушают этому — это доказывает, что они настолько впереди своего века, что грубая толпа не понимает их.

Литературная газета

№ 57

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

